

ИСТОРИЯ НАУКИ



Н. В. Тимофеев-Ресовский

* Продолжение.
Начало — 2006. № 3 (17).

ВОСПОМИНАНИЯ*

ХIII. Скучный германский порядок

Еще до моего приезда в Берлин для моей лаборатории были наняты первые два сотрудника. Это я разрешил Фогту. Он правильно сказал: «Вы все равно никого не знаете. Я Вам подыщу для начала пару молодых людей».

Оба оказались очень подходящими.

Один — русский немец Михаил Иванович Клемм, который прекрасно говорил по-русски, малость хуже — по-немецки, по-французски — совсем плохо, английским же вовсе не владел.

А другой — немец Вильям Фред Райниг, родившийся и выросший в Америке. Он, к сожалению, в конце второй войны погиб в Норвегии. Хороший был очень человек, первоклассный зоолог. И антинацист страшный!

А Клемм впоследствии занялся прикладной зоологией, потом перешел в чиновники биологические... Жив до сих пор старичок! И очень полезный человек для нас, потому как там реферирует всю русскую зоологическую литературу и обязательно помогает, ежели что-нибудь переводится наше.

Ну вот, начали мы маненькой такой лабораторией работать. Затем присоединился к нам такой уже пожилой дядечка (специалист по шмелям: изменчивостью шмелей занимался) — профессор Крюгер. Было у нас три комнатки.

И поставили-таки мне телефон! Я сопротивлялся отчаянно. Сам Фогт, старик, пришел меня уговаривать: «Это полезное изобретение человечества».

А я терпеть не мог и до сих пор не могу телефона. И всегда говорю: ежели кому-то нужен, то прибегайте ко мне. А то этот треп телефонный — ужас!.. Но меня все-таки уговорили. Единственное, на чем я настоял, — чтоб его, телефон, к Елене Александровне, жене моей, поставили в лаборатории. Тамошние разговоры мне не слышать было.

Уж затем оказался у нас Клаус Циммерман, который окончил Ростокский университет поздно — по-моему, в 28 году, ибо всю войну провоявал, а потом не спеша внимательно учился. Человек он был по-настоящему богатый: папаша евойный лесной промышленностью занимался и, по слухам, даже миллионер был. Так что спешить его сыну некуда было. И деньгу зарабатывать ему не к чему было: папашка давал.

Но Циммерман очень хороший настоящий зоолог был, мышевед и энтомолог одновременно.

Хотя вообще-то у него был даже не талант, а сущий дар. Ибо бывают, бывают на свете такие зоологи, у которых любая скотинка плодится, множится и разводится, — вот Циммерман такой был.

Существует много мелких млекопитающих, которые разводятся в зоологических садах и в лабораториях (и некоторые дамы их тоже содержат). Но есть виды, которые ни у кого нигде никогда не размножались. А вот Циммерман... сажает этих зверушек в такую стеклянную аккумуляторную банку большую (чтоб выпрыгнуть не могли), бросает им туда сенца (чтоб могли зарыться), кормит чем-нибудь, — и, глядишь, вдруг детишки появляются у них, то есть великолепным образом они размножаются. (Приходится тогда писать статейку в зоологический журнал: каким образом — неведомо, но размножаются они в лабораторных условиях!)

Окромя Циммермана, появилась у нас польская еврейка Тененбаум Эсфирь Абрамовна, которая лучше всего говорила, пожалуй, по-немецки, потом по-русски, немножко по-польски, немножко по-французски. В 34 году, уже Гитлер там был, мы с

Н. И. Вавилов,
Т. Г. Морган и
Н. В. Тимофеев-
Ресовский во время
международного
генетического
конгресса в Итаке.
США, 1932 год

Фогтом умудрились переправить ее в Палестину – в Иерусалимский университет, где она до конца войны благополучно занималась наукой. (А что после войны с ней случилось – этого я не знаю.)

Так вот в Берлине собрались эти первые мои немецкие сотрудники, и занимались мы дрозофилой.

Я заставил всех (кроме, разумеется, Крюгера: он сидел со своими шмелями и действительно знал в лицо каждого шмеленка) поработать с дрозофилой. Мы осваивали генетику, чтоб затем всякими делами биологическими заниматься уже, так сказать, на теоретическом генетическом фундаменте.

Тогда я всех уговорил попробовать заняться экспериментально-систематическим географическим анализом какого-нибудь вида насекомых. И вот мы рылись, рылись в литературе и наконец откопали (я, кажется, ее нашел) божью коровку – эпиляхну.

Большинство из известных вам и другим неосведомленным людям божьих коровок – тляедные, полезные для человека. А эта эпиляхна жрет тыквенные растения; на юге она является злейшим вредителем бахчей: арбузы, тыквы, огурцы, дыни... Очень широко распространенный жук, которого на проростках легко разводить. Мы потом убедились, что можно от него шесть-семь поколений в год получать...

Первые три года моей загранишной жизни прошли в

Берлине... Да, было довольно тесно. Но, с другой стороны, было и достаточно просторно.

Ибо там практически не было лаборанток – этой чумы советских наук.

У нас каждый дурак, правдами и неправдами кончивший вуз какой-нибудь соответствующий, перво-наперво требует себе лаборантку. И девками-бездельницами, которые смотрят в окно, ковыряют у себя в носе, треплются друг с другом и треплются по телефону, забиты все и коридоры, и лаборатории.

Нет, там, на Западе, такого быть не могло. Никогда и нигде!

Ежели ты доработался, дожил до своего телефона служебного – трепись на доброе здоровье, это твое собачье дело. Однако на казенных аппаратах общего пользования трепаться никому не позволялось. Чтоб лаборантки, как у нас, обсуждали, что там выбросили туфли, а там выбросили еще что-то!.. За это без пощады выгоняли со службы.

Работать полагалось тогда во всем цивилизованном мире. Восьмичасовой рабочий день. И никаких этих советских штучек: опоздал на три минуты – скандал! – нигде не было.

Около девяти все должны были собираться на работе; около шести – уходить с работы. Час полагался на обед – и меж двенадцатью и тремя каждый мог на этот час уходить (конечно, по уговору со своим начальством) куда хочет (хоть в шикарную ресторанцию, хоть домой, хоть в пивнушку, хоть...), что касалось, правда, только препараторов, техников, лаборанток, служительниц и соответствующих прочих. Научные же работники имели так называемый неограниченный рабочий день, то есть они могли когда угодно приходить, когда угодно уходить. Но опять-таки – по уговору со своим заведующим лабораторией...

В 28 году мы первыми в фогтовском институте перебрались в Бух, где моя лаборатория должна была стать уже отделом этого института.

Когда-то в двадцати километрах от Берлина расположена была деревушка Бух, очень древняя. Раскопки показали: на этом месте еще в бронзовом веке уже были какие-то поселения, не то германские, не то славянские. А потом возникла, укрепи-



Н. В. Тимофеев-Ресовский
у термостата
с дрозофилами.
1935 год

лась немецкая или прусская деревушка; впрочем, правильно – литовская, которая онемечилась.

Рядом – Берлин. И в 90-е годы XIX века, когда он, Берлин, стал расти очень быстро и сделался столицей мощной большой Германской империи, было решено выносить помаленьку за пределы города берлинские больницы и клиники.

Совершенно разумная вещь! Чем в центре – в духоте, в дыме, в копоти – держать крупные больницы, – не лучше ль их на свежий воздух?!

И все большие городские больницы решено было построить около этой старинной деревушки, в которой было... ну, может, пятнадцать или двадцать крестьянских дворов да церковь XVII века с очень хорошим органом.

Сильно разбогатевший тогда Берлин построил там два госпиталя для стариков – что-то среднее меж богадельнями и больницами, в которые по больничным кассам могли помещаться старые люди, одинокие либо больные хронически.

Затем выросла детская больница на полторы тыщи детишков (окружена она была, разумеется, лесом и лугами, и небольшое озеро там было: прелесть место!).

А на другой опушке – туберкулезная больница на восемь сотен коек, уже будто бы совсем небольшая.

И затем – нервно-психиатрическая клиника на чатыре или аж на пять тыщ коек, огромное по тогдашним временам медицинское заведение.

А рядом с этой клиникой, за пределами ограды располагались Landhaus'bi – кирпичные большие дома двухэтажные, в которых лечили алкоголиков и отчасти других всяких шизиков и прочих наркоманов. (Конечно, вокруг каждого дома была и своя немалая территория паркового типа.)

И вот один такой Landhaus был предоставлен институту фогтовскому под мою лабораторию, откуда строилось там же, в Бухе, институтское здание: научной публики становилось все больше, и в трех комнатках нам стало уж чересчур тесно.

Кстати, так как город ничего раздаривать не может, формально новое здание это было сдано Берлином в аренду Kaiser Wilhelm Gesellschaft... Как вы думаете, за сколько? За десять марок в год! На сто лет!

Еще до войны 14 года Бух, где уже функционировали все или почти все больницы, стал частью Берлина, просто купившего эту деревню.

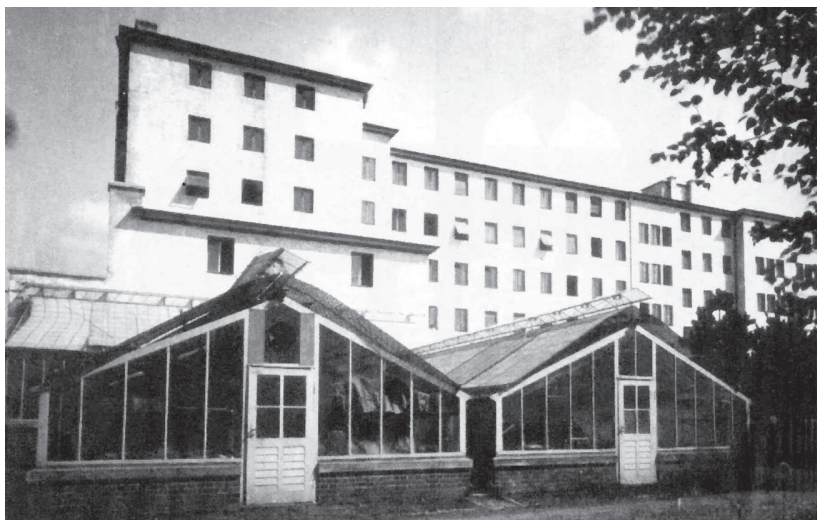
Островок Берлина за его пределами!

Мы на электричке ехали по неберлинской земле, по всяким полям, лугам и перелескам некоторое количество километров – а потом въезжали в Бух, и это был опять Берлин. Но – особый Берлин, объединивший все выгоды столицы и прелести деревни. (За границей такие загородные места обычно прелестны, особенно в Германии.)

Итак, в конце 28 года – за год до окончания строительства институтского здания – мы переехали в Landhaus-5. А рядом был Landhaus-4, где пьяницы лечились. И очень это стало выгодно и удобно для обеих сторон.

С большим удовольствием больницы нам поставляли низовую рабсилу, чтоб ихние хроники могли еще подрабатывать у нас.

В той Германии – капиталистической, а не социалистической! – были, между прочим, самые социально передовые рабочие законы.



Здание института (южная сторона). Слева над оранжежереей пристройка генетического отдела

(А такого безобразия по части рабочих законов, как у нас, я больше нигде в мире не видал.)

Рабочее законодательство там, в Германии, было действительно здорово поставлено. Я вот получал жалованьишко выше границы, ниже которой человек обязан был состоять в больничной кассе. Что совершенно разумно, потому как ежели человек получает достаточно, чтоб лечиться на свой счет, то на кой ему черт больничная касса?! А кто мало зарабатывал, те обязаны были состоять в больничных кассах.



Оранжереи, работа с эпилепсией

Благодаря им, этим кассам, всякие хроники могли по одиннадцать месяцев лечиться. Но – не дольше. Хотя ежели оказывалось, что они недолечены, то снова поступали на одиннадцать месяцев. Это была самая обычная картина.

Больницы предоставляли нам за очень дешевую плату так называемых кольфакторов – служителей, которые убирали, подметали, носили и т. п.; ежели нужно было у нас, к примеру, всякие культуры разводить, то они садовые работы неспециализированные выполняли. Естественно, все это было очень удобно и полезно.

А сами пьяницы вообще-то были уж какие хитрые: они прекрасно, цивилизованно жили в Landhaus'ах на всем готовом плюс зарабатывали. И через одиннадцать месяцев уходили, как мы говорили, в отпуск. Ровно на месяц.

От них в отпуске требовалось только одно: оставить, сохранить себе на конец отпуска достаточно деньги, чтоб погулять «с крахом», то есть напиться с повреждением дешевой мебели либо с разбитием дешевой посуды. Тогда жена или сожительница могла вызывать полицию, не боясь заплатить штраф (ежели без надобности полицию вызываешь, штраф платишь). И составлялся протокол, в результате чего недолеченный опять переправлялся за счет больничной кассы в свой Landhaus, опять поступал на работу.

Там были такие фокусники, которые чуть ли не второй десяток годков так жили.

Когда в начале 30-х в Германии начали вводить экономию всяких государственных средств, то догадались и на этом начать экономить и стали выгонять на волю этих самых якобы недолеченных пьяниц: мол, пьянствуйте за свой счет и сами о себе заботьтесь. А у нас в лаборатории был такой герр Матиас, симпатичный пожилой мужик, удивительно аккуратный. И вот однажды говорит он мне: «Ох, герр доктор, времена-то какие настали! Только что почтовых чиновников сократили, а сейчас и нас, алкоголиков, сокращать начали».

Абсолютно искреннее понимание: сокращают разные профессии» – «и нас, алкоголиков, сокращают». Это была тоже беда...

Целый год мы в Бухе из фогтовского института были совершенно одни.

Жили на втором этаже этого Landhaus'а... Мы, Царапкины (да, я забыл: Царапкин в 26 году приехал), еще один сотрудник, затем Циммерман... А в нижнем этаже были сами лаборатории. Помещений – масса. Не какие-то вчерашние три комнаты!

Почти рядом достраивался институт. И я в первую очередь придирчиво следил за тем, чтобы оранжереи мои были правильно поставлены.

Дело заключалось в том, что при новом здании я заказал себе две специальные оранжереи для экспериментального разведения животных и растений.

А такие оранжереи не так уж часто встречались даже за границей. И установление их было весьма поучительно. Опыт этот мне потом на шарашке очень пригодился.

Как происходило заказывание этих оранжерей?

Конечно, сначала мне ориентировочно было сообщено, на какую сумму я могу рассчитывать. А дальше – дело.

Шестиэтажное здание – большое, такой длинный четырехугольник. И у южной стены – пристройка трехэтажная, в которой размещался мой отдел. А уже к его южной стене были пристроены параллельно две оранжереи с небольшим проходом меж ними. Вход – из комнаты нижнего этажа.

Каждая оранжерея была разделена на две части продольно. Одна состояла просто из двух половин; вторая – тоже из двух, но ее вторая половина была еще разделена на восемь частей.

Это было задумано как политермостат: каждый отсек – на разную температуру. Главное заключалось в том, что хотя была общая теплоцентраль, но регулировка отопления была своя, отдельно.

Оранжереи эти мои должны были стать пригодны для трех целей – для массового разведения тыквенных растений (чтоб кормить божьих коровок наших), для разведения аквариумных рыбок в больших количествах и для разведения тех же божьих коровок в особо больших количествах (десятки, сотни тысяч) при разных температурах.

Когда я все это окончательно распланировал, я обратился в три самых солидных немецких оранжерейных фирмы с письмом: мол, я предполагаю для такого-то института построить в Берлин-Бухе две спаренные оранжереи специально для разведения всякой невсякой всячины, мне нужной.

А дальше все происходило так, как раньше происходило при постройке, например, железных дорог в России. То есть поставщикам устраивался конкурс: составили проект того, что нужно выстроить, – и привлекались фирмы, которые конкурировали меж собой, кто дешевле его выполнит (разумеется, при соблюдении определенных качественных и количественных условий).

В течение недели у меня побывали представители всех трех этих фирм; они прельщали альбомами своих оранжерей, типовыми планами, новыми проектами.

В конце концов я договорился – как оказалось, к счастью! – с самой лучшей фирмой Редера из Дрездена, заключил с ней контракт.

В целом все это длилось месяц.

А сколько еще ушло времени до того, как мы вселились в эти оранжереи с нашими культурами?

Тоже месяц. Ме-сяц!

А в СэСэСэРе это бы полтора года продолжалось. Полтора года! Я знаю.

У меня на атомном объекте значительно примитивнее две оранжерейки цельный стройбат год строил, колотил по упрощенному буховскому проекту, который я по памяти восстановил. Год!

А там – месяц. И никакого стройбата! Было только какое-то совсем небольшое количество рабочих.

Сверху мои оранжереи имели водяное охлаждение: по коньку крыши шла труба, и по бокам ее были маненькие отверстия, через которые пускалась холодная вода. Так



Г. Мёллер, ?, С. Фогт, Н. В. Тимофеев-Ресовский, О. Фогт. Берлин-Бух, 1933 год

что летом можно было аж на десять-пятнадцать градусов снижать температуру. Это была забота садовника, который также охлаждением и отоплением ведал.

И так продолжалось круглый год. С 28-го до 45-го... Семнадцать лет без всяких поправок, без всякого ремонта.

И до сих пор оранжерейки мои, я слышал, там работают. Вот как дела делаются, ежели делать их попросту, а не с фокусами нашими!

Я теперь позабыл точные цифры, но стоило это, поверьте, гроши... У нас так построить оранжереи просто немыслимо. Одна подготовка потребует двух-трех лет. И осуществление – уж полтора года минимум. А потом надо будет начинать ремонтировать, устранять недоделки...

В Бухе уже было достаточное количество лабораторных комнат, достаточное количество микроскопов и вообще нужного оборудования. Стали появляться новые и новые сотрудники.

Как, за счет чего у меня увеличивался штат?

Надо, обязательно надо сказать, что за границей-то работать в науке перво-наперво удобно.

Это ведь только в СэСэСэРе на жалованьишко сотрудников – одна статья, другая – на оборудование, аппараты и инструменты, третья – на командировки, четвертая – еще на что-нибудь. Ибо у нас ныне почти повсеместно считают, что почти все мы в основе – жулики. Поэтому и семь подписей нужно на каждое дерьмо.

Что на электронный микроскоп, что на фунт гвоздей – те же семь подписей!

Но даже при них, при семи подписях, обычно не узнать, на ком это «висит», электронный микроскоп или гвозди. И раскрасть имущество казенное чрезвычайно просто.

Употребить же его в дело куда и куда труднее. Во-первых, самого дела часто не бывает никакого, а имущество уже есть. Во-вторых, чтоб именно на дело шло, нужно работать, а у нас

сегодня преимущественно не работают.

Там, на Западе, таких сложностей не было. Например, я мог своей властью тратить деньги: скажем, брать сотрудников лишних (даже увольнять ненужных).

Мы из своего бюджета за два года сэкономили нужную сумму для приобретения первого в мире нейтронного генератора и приобрели его.

Можно, можно было хозяйствовать: и экономить, и рассуждать, как лучше деньги истратить!

Ей-ей, наше Отечество действительно уникальное в своем роде: это единственная страна не только в Европе, но, пожалуй, и во всем мире, где нельзя экономить.

Нам же все время талдычат: «Экономьте, экономьте государственные средства!»

А куда, скажите на милость, их экономить?

Не истратишь – отберут. И это еще полбеды. На следующий год меньше дадут!..

А там всего этого нету... У моего отдела имелся свой банковский счет, и ежели что-нибудь экономилось – хорошо, ибо означает, что на следующий год будет больше денег, а не меньше... При этих условиях, которые во всем мире считаются не какими-нибудь достижениями, а совершенно обычным нормальным состоянием, очень просто было научным учреждениям хозяйствовать.

Наша же нонешняя «сицилистическая» система, и так, конечно, замечательная по сложности и особой бухгалтерской красоте, несет в себе, по-моему, неостановимо распухающий свой главный недостаток: она развращает людей служащих – основных граждан Советского Союза.

Чем выше рангом советский чиновник, тем больше он развращается.



Т. Морган и
Н. В. Тимофеев-
Ресовский во время
международного
генетического
конгресса в Итаке.
1932 год

А все советские люди – чиновники, ибо они все на казенных харчах состоят. И тот, кто хоть за что-то отвечает, должен ловчить, мудрить, глядеть, как бы что обойти...

Все, абсолютно все советские научные учреждения постоянно скулят: «Ах, хорошо буржуям! У них оборудование превосходное, у них денег много... А у нас лаборатории нищие...»

Врут!

Все наши лаборатории, все наши институты забарахлены, как говорится, по первое число и выше крыши. Но покупается не то, что нужно, а то, что можно...

Таперешняя моя «косметическая» контора, в которой я, увы, имею честь состоять, – это фантастика. Однако отнюдь не научная и даже не популярная. Наша «сицилистическая»!

Когда-то руководившие этой самой конторой решили построить лабораторный комплекс, чтоб на Земле, на нашей планете, проводить модельные эксперименты, подобные тем, что будто бы должны происходить в космосе (куда еще и Гагарин не слетал).

Построили. На Хорошевском шоссе уже давно молча, мертво стоит это замечательное здание (сплошное стекло, железобетон и пр.). Достаточно широко известно, что строительство его обошлось минимально в двадцать шесть миллионов рублей. Но в нем ни гвоздя в научном, или в техническом, или еще в каком смысле по сей день не сделано.

Туда, в этот стеклянный дворец, никого не пускают без какой-то особой «птички» на вашем пропуске. Хотя каждому можно заходить совсем без всего с заднего входа.

Сейчас все высшее начальство этой «косметической» конторы нашей мучительно размышляет: угробили двадцать шесть миллионов – и что? Выход-то какой?

Талантливо, гениально угробили (захочешь повторить – не сумеешь)... Ничего разумного сеять в этом здании невозможно: его нужно либо вовсе сломать, либо затратить еще хотя бы двадцать пять миллионов на переделку и переоборудование.

Прямо трагическая ситуация...

Это я рассказываю про свою контору «косметическую». Ее официальное название – Институт медико-биологических проблем Министерства здравоохранения ЭС-эСэСэР.

Совершенно секретное название! Чтоб никому, значит, не было понятно, чем там занимаются.

А там ничем не занимаются.

Вы не представляете себе, что дееся сегодня у вас в Москве... Черт знает что! Ужас!

Институт физики Академии наук. Мне по долгу службы несколько месяцев тому назад в руки попало тамошнее штатное расписание (я в какой-то комиссии участвовал): семь тыщ восемьсот единиц! Представляете?!

А в Семеновском институте – чатыре с половиной тыщи этих единиц. А в нашем «косметическом» институте медико-биологических проблем – около трех тыщ.

Есть новая контора, в которой неизвестно что делается. Называется она незатейливо: Институт биотехники... Вроде была идея разводить на нефти дрожжи для прокормления миллионов и миллионов голодающих индусов, которые за наши дрожжи будут нам свои рупии выкладывать. (Скоро, возможно, и нас переведут на дрожжи, коль так пойдет дальше)... Так вот, в этой самой конторе, основанной три иль чатыре года тому назад, уже перевалило за две тыщи совершенных научных паразитов, понимаете?! Это ужас, ужас и ужас!..

Но – вернемся в Германию, где всего этого просто не было. А был очень простой и очень скучный порядок: начальство давало деньги, а их надо было тратить обязательно разумно, потому как тех, кто тратил неразумно, выгоняли со службы.

Это значит, что те, кто хозяйствовал научно, были люди разумные и по-разумному тратили деньги, которые получали.

Расскажу вам в качестве примера, как иногда деньги на научные исследования выдавались.

Тогда в Европе сидели три представителя Рокфеллеровского фонда – Тинбель (крупный очень физик), Хэмсон (тоже крупный экспериментальный генетик) и какой-то химик, фамилию которого я не помню, так как с ним никогда не имел никаких делов.

И вот в один распрекрасный день звонит мне из Берлина Хэмсон: они с Тинбелем хотят заехать.

Я говорю: «Заезжайте... У вас что, свой автомобиль?»

«Да».

Приехали два дяденьки.

Я им показал свою скромную лабораторию, то есть все, что там было интересно-го. Разумеется, похвастался оранжереей.

Они поохали, поахали.

Действительно, оранжерея у нас была исключительная, даже, пожалуй, единственная в своем роде для таких экспериментальных целей. А к тому времени мы сами в нашей маненькой мастерской соорудили еще термостат замечательный, в котором было, по-моему, восемь камер (от +5 до +40°). Причем регулировалась не только температура, но и влажность. Регуляторы для этого мы сделали очень просто и дешево: за полторы марки купили обыкновенные волосяные гигрометры, разбили стекла – и получились терморегуляторы...

Завтракали эти посетители естественно у нас дома. Мы просто болтали. И вдруг они говорят: «Вам, наверное, деньги нужны?»

Я говорю: «Деньги?.. Есть у меня бюджет. Хватает».

Они: «Но все ученые всегда требуют денег: им всегда нужны деньги».

Я: «Ну, конечно, пригодятся, ежели... А что, у вас много денег?»

«Есть. На то и Рокфеллеровский фонд. Мы вам можем дать... ну, пару тыщенок долларов. Надо только придумать, на что... Знаете, вот нам особенно нравятся в ваших оранжереях жучьи работы. Ведь это экспериментальное изучение эволюции!»

«Да, так это и задумано нами было еще в Москве».

«На совершенно новое экспериментальное изучение эволюции мы вам подкинем... Ну, сколько?»

«Я без денег обойдусь. Установка у меня такая: чем меньше денег, тем лучше, чем больше денег, тем больше ответственности. А для человека это самое скверное: отвечать перед кем-то за что-то. Ежели денег я, скажем, не получаю от вас, то мне на вас наплевать с самой высокой башни. А если я от вас деньги буду получать, то должен буду стараться лишь какие-то угодные вам науки разводить...»

«Нет! Мы вовсе не такая организация. У нас деньги только для поддержания развития науки... Вот вашу эту экспериментальную эволюцию мы хотим поддержать и по возможности развить. Раз у Вас такое редкостное умонастроение, что Вы против денег, то не берите много. Возьмите тысячи три-четыре в год. Это пригодится всегда. Вдруг понадобится лишних парочку дорогих каких-нибудь цейсовских ультрафиолетовых микроскопов приобрести. Или появится какой-нибудь симпатичный и умственный молодой человек, а у вас как раз нету денег на научного сотрудника. Вот вы и будете отсюда платить. Ведь мы-то деньги, поймите, лишь даем: на что их тратить – это ваше собачье дело. Хотите – берите себе ассистента, хотите – микроскоп покупайте. В общем, как хотите...»

«Ладно, уговорили... Что для этого надо?»

«А ничего не надо... – Вытащили какую-то книжицу с квиточками и один мне дали. – Дубликат, значит, у нас останется... На квиточке Вы распишетесь и мы распишемся. Начнем с первого января. Разом мы вам все деньги пришлем или как-нибудь частями?»

«Лучше поквартально: еще израсходуешь все разом».

И вот договорились мы на пять тыщ в год, то есть ежеквартально тыща двести пятьдесят долларов на мой банковский счет переводились.

Я: «Знаете, это даже имеет чрезвычайно хорошую сторону: в пределах пяти тыщ долларов я буду независимым барином по отношению к Kaiser Wilhelm Gesellschaft, могу с ними поругаться, послать их к чертовой бабушке. Так? Они, разумеется, могут обидеться и постараться сократить мне количество денег на науку. А мне наплевать: у меня вот рокфеллеровские доллары тогда есть!»

Они: «Правильно. Так и надо поступать. Чтобы чиновников держать в аккурате».

Это тогда просто делалось: чайку попили – и пять тыщ долларов!.. Очень было хорошо и мило.

Когда меня нонче иногда хвалят за то, что я за 30-е годы много наработал всяких вещей, то хвалить меня не за что.

Я из условий, где надо было придумывать, как обыкновенно прожить и как обыкновенно работать, вдруг попал в условия, где обыкновенно жить и работать была норма. Всего-навсего норма! И поэтому нашему брату там было вдосталь вольготно.

Правда, сами германцы и прочие европейцы (как помните, из стран тогдашней Западной Европы я не бывал только в Португалии) время от времени стонали и бесились от своей жизни. Ибо другой жизни-то (в которой человек не свинья: все должен выносить) они, несмотря на множество вчерашних русских вокруг, толком не знали. Мы добродушно, ехидно, зло посмеивались над ними: «Ишь сукины дети избаловались как»...

(Меня в этом многосложном и малопонятном мире держала, однажды лишь в последний момент удержала и покамест продолжает удерживать моя научная работа.

По-моему, только она, работа, должна определять для каждого ученого, вообще для каждого мужика суть и смысл его жизни.)

Напоследок добавлю к нашим оранжереям или о наших оранжереях... Когда они устраивались, я командировал Михайлу Ивановича Клемма на остров Корфу и соседствующий греческий материк, чтоб добыть живых эпиляхн. И оттуда поступил поистине первоклассный богатейший материал, ставший для нас печкой, от которой мы начали плясать. То есть исходный тип для исследований.

С ним мы сравнивали, скрещивали все другие популяции. К преждевременному концу этих работ, развивавшихся семнадцать-восемнадцать лет, у нас в оранжерее жили жуки примерно с полутора мест Средиземноморья и Африки. Перспективы нам казались очень важными для развития науки.

В СэСэСэРе, куда меня насильно доставили в результате победной весны 45 года, продолжение этого было невозможно уже хотя бы из-за секретности: жуки со всего ареала распространения, охватывающего два десятка стран!.. Господи, Боже мой!..

Впрочем, до этого было еще далеко, фантастически далеко.

В 1929 году открылся для работы уже весь институт; весь Kaiser Wilhellm Institut переехал в Бух на Lindenbergerweg – 71...



НАУКА. ОБЩЕСТВО. ЧЕЛОВЕК: Вестник Уральского отделения РАН. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. № 4 (26).

Вестник Уральского отделения РАН – издание, в котором освещаются наиболее значимые итоги научных исследований сотрудников институтов Отделения, обсуждаются глобальные проблемы и задачи, на решение которых необходимо мобилизовать интеллектуальный потенциал уральских ученых. В издании представлены материалы о научных направлениях и достижениях институтов УрО РАН, как фундаментальных, так и прикладных. Ряд статей посвящен памяти выдающихся ученых, внесших неоценимый вклад в развитие науки, а также первым успешным шагам молодых исследователей. Содержится информация о важнейших научных разработках и планах, юбилейных датах, новых, вышедших в свет книгах. Вестник ставит своей целью обеспечение научной общественности информацией о деятельности ученых Отделения, новых направлениях исследований, о людях, работающих в науке, о том, какие задачи они решают сегодня. Адресован научным сотрудникам, студентам вузов и всем, кто интересуется актуальными проблемами и состоянием современной науки.

Уважаемые читатели!

Открыта подписка на вестник Уральского отделения РАН «Наука. Общество. Человек» на первое полугодие 2009 года.

Подписаться можно в любом отделении связи России (каталог Агентства Роспечать «Издание органов научно-технической информации»). Подписной индекс 66002.

Подписку также можно оформить в Агентстве «Урал-пресс»: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 130, тел.: 262-64-73, 262-61-35. Индекс для индивидуальных подписчиков 01400, для предприятий и организации 01401.

Научно-информационное издание

Наука. Общество. Человек

Вестник Уральского отделения РАН. 2008. № 4 (26)

Рекомендовано к изданию Президиумом УрО РАН

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных, собственных имен, географических названий и прочих сведений, а также за то, что в материалах не содержится данных, не подлежащих открытой публикации. Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения автора. При перепечатке материалов ссылка на журнал «Наука. Общество. Человек» обязательна.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-27930
от 6 апреля 2007 г.

Подписано в печать 19.12.08. Формат 60х84 1/8.

Усл. печ. л. 22,6. Тираж 950. Заказ 931.

Издательский дом «Автограф»

620026, г. Екатеринбург, ул. К. Маркса, 66, тел. 222-05-45, e-mail: izdat@e1.ru

Типография «Си Ти принт»

620086, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 16а.